

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ НА ПОДСТУПАХ К ТОЛСТОМУ*

В статье «Лев Толстой и культура» (1911) Андрей Белый сообщает, что он «четыре раза с величайшей внимательностью вчитывался в „Войну и мир“». В первый раз — в детстве; тогда его «поразил всеобъемлющий охват событий»: «роман я воспринял как эпос». Вторично — после ознакомления с критическим исследованием Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», которое способствовало постижению не замеченных ранее особенностей: «...спокойная ткань повествования оказалась сотканной из лирических вихрей бесконечно малых движений творчества. Это была буря тончайших и субъективнейших переживаний <...>». При третьем прочтении «Война и мир» раскрылась ему как отображение индивидуальности автора: «...я по-новому изумился: <...> многообразие событий и лиц показалось мне многообразием самой души Льва Толстого: я тонул в этой душе, как в глубоком море». Перечитав «Войну и мир» в четвертый раз, Белый распознал в романе те черты, которые с особенной наглядностью обозначатся у Толстого в последние десятилетия его творчества: «...в прозаических рассуждениях о войне, в характеристике Кутузова, как идеала народного героя, увидел я опять вовсе новую для меня глубину <...> Косноязычие, немота, и будто бы простота Кутузова оказалась для меня символом самого Толстого во втором периоде его деятельности».¹

Как и величайшее создание Толстого, личность его автора представляла Андрею Белому на тех или иных стадиях его собственного творческого развития разными гранями, наполнялась различными смыслами, побуждала к разнородным сопоставлениям и оценкам. Толстой для Белого неизменно был соотносим с крупнейшими представителями мировой культуры всех времен — и при этом он оставался его современником; более того — одним из тех патриархов московского интеллигентского быта, о которых у него сохранились яркие впечатления с ранних детских лет. В «Воспоминаниях о Л. Н. Толстом» — очерке, написанном вскоре после смерти писателя и предназначенном, возможно, для книги статей Белого «Арабески» (1911), но по неясным причинам в нее не включенном,² — Белый описывает Толстого, каким он его воспринял — а точнее, ощутил — в трех- или четырехлетнем возрасте, когда родители мемуариста, ранее знакомые с писателем, нанесли ему визит: «...я запомнил... не Толстого, а сырые колени, на которых сидел и детской рукой снимал пылинки. <...> А я уже почему-то знал, что этот Лев Николаевич и есть тот самый Толстой, а кто же тот са-

* Исследование (статья и публикация) выполнено при поддержке РНФ (проект 14-18-01970: Создание международного портала «Документальное наследие русской литературы: источники и исследования»).

¹ О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912. С. 145—146 (Книгоиздательство «Путь». Сборник второй).

² 17/30 декабря 1910 года Белый писал А. М. Кожебаткину (секретарю издательства «Мусагет», печатавшего «Арабески») из Монреале (Сицилия): «...прошу Тебя выслать мне мой фельетон о Толстом <...>» («Кожебак!.. Да ведь это хуже, чем гусак!!!» Письма Андрея Белого к А. М. Кожебаткину / Предисловие, публ. и комм. Джона Малмстада // Лица. Биографический альманах. 10. СПб., 2004. С. 152).

мый — этого я не знал, знал, что он большой и что он — граф».³ Позже Борис Бугаев стал регулярно бывать в московском доме Толстых в Хамовниках как один из гимназических товарищей сына писателя, Михаила Львовича (оба учились в частной гимназии Л. И. Поливанова). Описывая эти собрания веселой молодежи, Белый воссоздал и некоторые эпизоды с участием Толстого, с ясным пониманием того, что случавшиеся спорадические контакты имели сугубо внешний, формальный характер: «Мне казалось, будто Толстой не живет у себя в Хамовниках, а только проходит мимо: мимо стен, мимо нас, мимо лакеев, дам: выходит и входит. Лев Николаевич так и остался для меня прохожим на толстовских субботах. Он вносил с собой что-то большое, иное, нам чужое: свою гениальную жизнь проносил он мимо нас, а мы не видели этой жизни».⁴ Визиты в московский дом Толстых Белый относит к сезону 1894—1895 годов.⁵

В последние пятнадцать лет жизни Толстого Белому видеть его не доводилось. За эти годы Белый вполне сформировался как писатель, но в этом качестве не представлял для Толстого никакого интереса: автор «антиэстетического» трактата «О Шекспире и о драме» в своем непонимании и нежелании понимать «декадентов» не выделял бывшего приятеля своего сына из сонма тех, которых он, по свидетельству Д. П. Маковицкого, «не признает за серьезных людей, — например, Бальмонта, Андрея Белого, псевдо-Солугуба Федора и прочих».⁶ Для Белого же с юношеских лет Толстой определился во всем своем величии — и благодаря художественному совершенству его произведений, и в актуальном, символистско-провиденциальном смысле, вскрытом и обоснованном Мережковским в его книге «Л. Толстой и Достоевский» (1900—1902); для Белого она стала откровением и одним из стимулов для собственных религиозно-мистических построений. В мемуарах Белый определяет содержание и пафос концепции Мережковского в концентрированном виде: «...анализ, произведенный Д. С. Мережковским образами Льва Толстого и Ф. Достоевского, выявил: оба они завершают-де собой мировую словесность: „От слова — к действию, к преображению жизни, сознания!“ По Мережковскому, Толстой ведает плоть; Достоевский же — дух; Лев Толстой сознал, что из плоти рождается новое знание; его ошибка: за поиском знания он убегает в мораль; Достоевский же не понимает, что дух обретается в теле, не в вырыве в небо (...) Литература в обоих есть выход из литературы: в обоих уж слово становится делом».⁷

Впервые Белый специально написал о Толстом в связи с 80-летием со дня его рождения. В январе 1908 года с целью проведения этого юбилея был создан Комитет почина, а 22—25 июня того же года в Петербурге состоялся Первый Всероссийский съезд представителей русской печати, наметивший широкую программу праздничных действий, включая подготовку сборника, посвященного Толстому. Множество задуманных юбилейных мероприятий не состоялось (в значительной мере благодаря самому Толстому, настоятельно просившему прекратить все приготовления к чествованию), не вышел в

³ Андрей Белый. Воспоминания о Л. Н. Толстом / Предисловие и публ. Л. Озерова // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 639.

⁴ Там же. С. 643. См. также описание встреч с Толстым в мемуарной книге Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (М., 1989. С. 132—133, 328—333).

⁵ Там же. С. 328.

⁶ Лит. наследство. 1979. Т. 90. Кн. 4: У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. С. 176 (запись от 5 февраля 1910 года). Ср. слова Толстого, зафиксированные В. Ф. Булгаковым: «Что у них у всех в головах — у Бальмонтов, Брюсовых, Белых!..» (Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1989. С. 147).

⁷ Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 188—189.

свет и Толстовский сборник — видимо, по причине того, что редакции в составе С. А. Венгерова, Л. Н. Андреева и Д. С. Мережковского не удалось своевременно собрать достаточно репрезентативного для столь масштабного начинания количества откликов. Среди текстов, представленных для Толстовского сборника в редакцию петербургской газеты «Слово» и сохранившихся в архиве В. В. Водовозова, — заметка Андрея Белого «Толстой и „мы”», датированная 22 сентября 1908 года.⁸ Белый не преминул вспомнить в ней о своих отроческих встречах с писателем — о днях, когда в профессорскую гостиную «входил этот вещей старик, с глубокими, внутрь глядящими глазами», но в основу своего лаконичного высказывания все же положил мысль об уникальной личности писателя-пророка, внутренне противоречивой и единой одновременно: «Перед нами двое: художник и учитель жизни; оба отрицают друг друга. Вот что мы видим: не можем не видеть. И однако: мы чувствуем, что вовсе это не так; что Толстой — один; через всю жизнь проносит он какую-то единственно присущую ему мудрость: в проповеди — он художник; в худож(ественном) творчестве — мудрец. Но когда захотим мы явственно показать цельную правду в Толстом, видимость нарушает это тайное наше знание о нем. Так стоят перед нами — Толстой-раздвоенный и Толстой-цельный: *чего-то* не договариваем мы о каждом. Какая-то *тайна в нем* давит нас непомерно {...}. И невольно понимаешь, что нераскрытая сущность Толстого есть нераскрытая сущность России; пути его мысли и творчества — ее пути. {...} Внутренними очами прозревает правду Толстой в земле нашей, в нас, в себе; но внешними очами не видит он земли нашей, нас... быть может, себя. Как Вий, стоит он перед нами с опущенными ресницами: „Приподнимите ему веки”, хочется нам сказать о нем; хочется в открытых глазах его прочесть тайну, потому что *его тайна* и в нас, если мы чувствуем в себе землю нашу. И не поднимаются железные веки Толстого: и *тайна его* не смотрит нам в глаза; не исполнились еще сроки; не узнали еще мы, *что такое* Толстой».⁹

Легко усмотреть в этих патетических прорицаниях о тайнописи, явленной в образе Толстого, о «тайном знании» — прикровенном, недовозмуженном — привычные символистские формулы, посредством которых заявляет о себе самосознание автора — теурга и «тайнописца». Однако два года спустя Белому, равно как и всем его современникам, пришлось убедиться в том, что ранее сущность Толстого, или любезная символистским сердцам «тайна» его, действительно оставалась недоступной во всей ее полноте и глубине; что только в дни, последовавшие за уходом писателя из Ясной Поляны, не одни избранные «тайнозрители», но и все, для кого его имя было безразлично, поразились тому, «*что такое* Толстой».

Толстой покинул Ясную Поляну ранним утром 31 октября 1910 года. На следующий день Андрей Белый выступал в Московском Религиозно-философском обществе с лекцией «Трагедия творчества у Достоевского». В «Воспоминаниях о Блоке» он свидетельствует: «...в день лекции о Достоевском (моей), в Москве молнией разносилась весть об уходе Толстого; переживали уход, как громовой удар, как начало огромного сдвига инерции мертвенных лет этих; словом: переживали уход, как событие мировое; упоминанием о

⁸ См.: Литераторы о Лье Толстом (материалы из архива В. В. Водовозова) / Вступ. статья, комм., подг. текста Ф. Л. Федорова // Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 83—86; то же (под заглавием «К 80-летию со дня рождения Л. Н. Толстого (1828—1908). Андрей Белый, Евгений Аничков, И. Бодуэн де Куртэн») — в кн.: Неизвестный Толстой в архивах России и США: Рукописи. Письма. Воспоминания. Наблюдения. Версии. М., 1994. С. 301—317.

⁹ Там же. С. 310. Вероятно, мыслями о юбилее Толстого было вдохновлено и стихотворение Белого «Льву Толстому» («Ты — великан, годами смятый», 1908), вошедшее в его книгу «Урна». См.: Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. СПб.; М., 2006. Т. 1. С. 353.

значении события этого я открывал мою лекцию <...>.¹⁰ Уход и последовавшая кончина Толстого, потрясшие всю Россию, в восприятии Белого представляли не только как яркое, экстраординарное завершение жизненного пути, но главным образом как провиденциальный, «жизнетворческий» акт, возвестивший об окончательном и совершенном воплощении личности гениального писателя-провидца, как некая священная жертва, принесенная им во имя пересоздания мира. Свое толкование ухода и смерти Белый дал в статье «Лев Толстой»,¹¹ позднее вошедшей составной частью в его очерк «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой», выпущенный в свет отдельным изданием (М.: Мусагет, 1911).

Последние дни Толстого вызывают у писателя-символиста священный трепет: «Лев Толстой, краса русской жизни, восьмидесятилетний старец, великий писатель мира, перешел все грани в трагедии творчества, вынес трагедию, не упал в эпилептический припадок, как Достоевский, не умер, как Гоголь; с ним русская литература пошла в далекое странствие, к *Новому граду*, ей увиденному. Символический странник, получивший литературное имя, Влас, стал реальным: не дядя Влас ходит в полях русских, нет, туда пошел Лев Толстой. Не смеем мы пускаться в дальнейшее толкование: года, десятилетия будем мы обсуждать случившееся; а ныне мы можем лишь сказать „аминь”. И умолкнуть».¹² Тем не менее Белый не умолкает, а продолжает с нарастающей энергией; он говорит о двух типах гениев, воплощающихся в художнике слова и в художнике жизни, о трагедии гения Толстого, «преодолевающего свою собственную человеческую гениальность во имя большей, невыразимой, нам едва ли понятной гениальности»,¹³ о том, что «толстовская проповедь <...> говорила не явным, а тайным; не словом, а молчанием; молчала же в Толстом тайна его жизненного творчества».¹⁴ Как уход Толстого есть нечто совершенно непостижимое в плане поведенческих норм современности, так и его творческая личность, по Белому, не отобразима в системе общепринятых идейных, эстетических, социально-психологических дефиниций. Пытаясь охватить сознанием финал жизни Толстого, Белый приходит к обобщающим патетическим выводам, для постижения смысла которых востребованы евангельские формулы и аналогии: «...разорвался покров толстовства: гениальный художник слова оказался гениальным творцом собственной жизни в эту длительную эпоху молчания. Слово стало плотью: гений жизни и гений слова соединились в высшем единстве; две сферы творчества соприкоснулись. <...> Толстой встал, пошел в мир — и умер. Своим уходом и смертью где-то в русских полях он осветил светом скудные поля русские. <...> Великий русский художник явил нам идеал святости, перекинул мост к народу: религия и безрелигиозность, молчание и слово, творчество жизни и творчество художественное, интеллигенция и народ — все это вновь встретилось, пересеклось, сливалось в гениальном, последнем, красноречивом жесте умирающего Льва Толстого».¹⁵

Отсвет этих переживаний, переполнявших Белого над гробом Толстого, сказывается и в его аналитической статье «Лев Толстой и культура», написанной летом 1911 года¹⁶ для сборника «О религии Льва Толстого», который

¹⁰ Андрей Белый. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 364.

¹¹ Русская мысль. 1911. № 1. Отд. II. С. 88—94.

¹² Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 393.

¹³ Там же. С. 417.

¹⁴ Там же. С. 419.

¹⁵ Там же. С. 419—420.

¹⁶ 14 июня 1911 года Белый сообщал М. К. Морозовой: «Для „Пути” на днях начинаю писать о Льве Толстом» («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой. 1901—1928. М., 2006. С. 169).

был сформирован издательством «Путь», объединявшем представителей Московского Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева (другие участники — Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. С. Волжский, В. В. Зеньковский, Е. Н. Трубецкой, В. И. Экземплярский, В. Ф. Эрн). В ней опять же в центре внимания — финал жизни Толстого, осмысляемый мифопоэтически, как жизнетворческий, мистериальный акт, параболически устремленный в грядущее: «...мы <...> знаем, что смерть его — не смерть: воскресение. Действие его, по безумию дерзости, превосходит все то, что вообще мы знаем доселе о дерзости: или антихрист он, или он новый герой. <...> Наклонился, коснулся рукою земли — упал мертвый. Мы же знаем, что это не смерть. <...> С мудрой улыбкой терпеливо выжидал ее он десятки лет, чтобы издали, видя приближение смерти, встать пред лицом всего мира и пройти чрез нее, мимо нее».¹⁷ Тема ухода, подчиняя себе все другие аспекты размышлений Белого о Толстом, все же не единственная в этой статье. Белый подвергает переоценке многие устоявшиеся мнения о Толстом. В частности, он утверждает, что проповедническое начало сказывалось в писателе с самого начала его литературной деятельности; что вызывающие всеобщее восхищение художественные построения Толстого отмечены незаконченностью, которая оказывается оборотной стороной колоссальных размеров его романов: «...незаконченность в смысле внешних пропорций» («По неполному овладению формой узнаем внутреннюю борьбу в художнике Льве Толстом»)¹⁸ С иронией он пишет о расхожих внешних формах поклонения Толстому («Паломничество в Ясную Поляну все последние годы порой нам казалось паломничеством не к Толстому, а к Толстовской сохе: сам Лев Толстой подчас издали нам казался лишь придатком к собственной своей сохе, олеографией, приложенной к одной из статей последнего периода»¹⁹), с негодованием — о нападках на Толстого со стороны церковных ортодоксов («Занесенный над головою культуры крест в таком случае не отличается от дикарского томагавка»²⁰). Обратную сторону проповеди Толстого Белый видит в его «молчании» — которое сказывалось не только в постепенном отходе от художественного творчества и в минимализации эстетических установок, но и в прямом отказе от индивидуального высказывания — замене собственных текстов сводами афоризмов и цитат из произведений мыслителей различных эпох. Белый относит Толстого к той группе мыслящих и ищущих людей, которую он называет «вечными жидами»: «...то, что объединяет их, <...> есть утверждение смысла и правды культуры вне методологической раздельности культурных проспектов современности. В этом смысле они ищут своего града по всей культурной земле».²¹

Вновь к углубленному осмыслению личности Толстого Белый обратился после того, как в 1912 году он испытал важнейшую перемену в своей внутренней жизни, вызванную приобщением к религиозно-философскому и оккультно-мистическому учению Рудольфа Штейнера, которое с января 1913 года самоопределяется как антропософия. Новый взгляд Андрея Белого на Льва Толстого — это взгляд мыслителя-антропософа.

В ретроспективном дневнике Белого в записи об апреле 1919 года значится: «...пишу статью: „Лев Толстой и иога“».²² Опубликовать статью Бе-

¹⁷ О религии Льва Толстого. С. 144.

¹⁸ Там же. С. 155, 157.

¹⁹ Там же. С. 149.

²⁰ Там же. С. 168.

²¹ Там же. С. 163.

²² Андрей Белый. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 99.

лый первоначально предполагал в начатом изданием с весны 1919 года журнале-альманахе издательства «Алконост» «Записки мечтателей» — в авторской рубрике «Дневник писателя»; 7 мая 1919 года он писал руководителю «Алконоста» С. М. Алянскому: «*Даю Вам статью: „Лев Толстой и йога“ для „Дневника“ № 3; если сочтете, что статья слишком велика, разбейте пополам для 2-х №-ов (1, 2, 3 абзац для 3-го номера под заглавием «Лев Толстой и йога»; и № 2 <так!>, 5) для № 4-го под заглавием <м> «Толстовство как всенародное дело»*); хотя было бы жаль: скоро напишу статью. <...> Если бы Вы напечатали „Лев Толстой и йога“ отдельной брошюрой, то — это меня бы порадовало, ибо за *круг мыслей* этой статьи стою: она — *дельная*: говорит о „*хлебе насущном*”». ²³ Однако с выходом в 1919 году 1 номера «Записок мечтателей» издание приостановилось до 1921 года, к тому же и Белый статью в намечавшиеся ближайшие сроки не завершил. Сообщение о возобновлении работы над той же темой датируется июлем 1920 года: «...по ночам читаю Льва Толстого и готовлюсь к переработке статьи в особую книжечку „Лев Толстой и Культура”»; «Весь август усиленно пишу книжечку о Толстом <...>». ²⁴ Параллельно Белый устраивает устные выступления на темы этих изысканий: реферат «Лев Толстой и йога» на квартире М. О. Гершензона в апреле 1919 года, ²⁵ доклад «Лев Толстой и культура» 14 марта 1920 года в петроградской Вольной философской ассоциации ²⁶ и лекция «Кризис сознания и Лев Толстой» 25 августа 1920 года в московском Политическом музее. ²⁷ Краткий экстракт написанного текста Белый опубликовал под заглавием «Учитель сознания (Лев Толстой)». ²⁸ В полном объеме заверченный аналитический очерк под заглавием «Лев Толстой и культура сознания» отложился в архиве писателя.

Главный импульс к собственным толкованиям мировоззрения Толстого Белому на этот раз дало ознакомление с философским трактатом писателя «О жизни». Это произведение не принадлежит и никогда не принадлежало к числу наиболее востребованных читательской аудиторией в творческом наследии Толстого, между тем как автор выделял его как одно из самых значимых своих произведений. «Вы спрашивали, — писал Толстой В. В. Майнову 17 октября 1889 года, — какое сочинение из своих я считаю более важным? Не могу сказать, какое из двух: В ч(ем) м(оя) вера? или О жизни». ²⁹ Белый открыл для себя трактат Толстого в марте 1919 года: «Усиленная работа над Толстым («Дневник», «О жизни» и т. д.) в контексте с „Бхагават-Гитой”». ³⁰ Своими впечатлениями он поделился в письме к Иванову-Разумнику от 26 августа 1919 года: «...одно время с головой ушел в Толстого; и все, что я ни читал, казалось мне еще не читанным никогда; книга Толстого

²³ Андрей Белый и С. М. Алянский. Переписка / Предисловие и публ. Джона Малмстада // Лица. Биографический альманах. 9. СПб., 2002. С. 91.

²⁴ Андрей Белый. Ракурс к Дневнику. Л. 105 об., 106.

²⁵ Андрей Белый. Себе на память. Перечень прочитанных рефератов, публичных лекций, бесед... с 1899 до 1923 года // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 10.

²⁶ Белоус Владимир. Вольфила (Петроградская Вольная философская ассоциация). 1919—1924. М., 2005. Кн. 2. С. 31; Вольная философская ассоциация. 1919—1924 / Изд. подг. Е. В. Иванова при участии Е. Г. Местергази. М., 2010. С. 226. Как свидетельствует в своем дневнике А. И. Оношкович-Яцына, Белый выступал с тем же докладом 13 марта 1920 года в петроградском Доме Искусств: «...я (...) слушала восторженного, безумного и вдохновенного Андрея Белого. Он говорил больше о йогах, чем о Толстом, и голос, полный бархатного энтузиазма, вонзался в душу: — Чувства велики, ум выше чувств, но выше всего чистый разум» (Минувшее. Исторический альманах. 13. М.; СПб., 1993. С. 373 (публ. Н. К. Телетовой)).

²⁷ Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. М., 2005. Т. 1. Ч. 1 / Отв. ред. А. Ю. Галушкин. С. 613.

²⁸ Знамя. 1920. № 6 (8). Стб. 37—41.

²⁹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1953. Т. 64. С. 317.

³⁰ Андрей Белый. Ракурс к Дневнику. Л. 99.

„О жизни” оказалась неопровержимой, едва ли не откровением». ³¹ И вновь дал развернутую аргументированную оценку этой книги в письме к тому же корреспонденту от 2 ноября 1919 года: «...прочтите изумительную книгу Льва Толстого „О Жизни” <...> эта книга отныне стала для меня в ранг книг, сопутствующих каждому дню; как „Заратустру”, как „Бхагават-Гиту” я полюбил ее; это книга *эпическая*, не уступающая „Войне и миру” <...> она вся проникнута новой эрой сознания: положенная на одну чашку весов, она перевешивает все тома Соловьева, даже если в привесок к ним присоединить сумму написанных книг нового религиозного сознания (от томов Мережковского, Розанова до... Флоренского, Бердяева, Белого и прочих); все мы „старички” пред Толстым, не говоря уже о том, что мы ребятишки перед Достоевским; но Толстой по сравнению с Достоевским... „младенец”, родившийся в будущую эру <...> книга безукоризненна „гносеологически”; не удивляюсь, что двадцать пять лет назад ее считали „ненаучной”; нужны были величайшие усилия гносеологов Европы (от неокантианцев до Гуссерля включительно), чтобы дорасти до „гносеологического” сознания Толстого, не помышлявшего ни о какой гносеологии <...> кроме того: там точная формула Христова Импульса... „Христианство” Толстого не понято, непротивление не понято; вершины иогии вскрыты Толстым в простой народной форме, философия антропософии предвосхищена. И — что за язык!» ³²

В этих оценках и характеристиках в сжатой форме изложено основное содержание работы Белого «Лев Толстой и культура сознания», видимо, ко времени написания письма уже вполне для него определившейся в основных смысловых контурах. Указывая на близость умозрения Толстого к «философии антропософии», Белый, однако, не упомянул, что ту же связь прослеживал сам Штейнер, — хотя, возможно, именно основоположником этого учения в данном случае был стимулирован интерес писателя к трактату «О жизни». В лекции Штейнера «Теософия и граф Л. Н. Толстой» (1904), опубликованной в русском переводе Е. Ф. Писаревой в «Вестнике теософии» (1908. № 7/8), пространно цитируется это произведение и выражается солидаризация с обоснованными в нем идеями: «Лев Толстой — истинный искатель жизни, вопроситель загадки жизни в ее меняющихся, разнообразных формах. <...> Всюду он ищет охватить смысл жизни. Везде, где он выступает, он является провозвестником новой эпохи жизни»; «Лев Толстой нашел истинное начало для обоснования жизни»; «Он говорит, что мы должны исполниться тем Богом, который в нас. Мы не должны изживаться в формах, а должны возвращаться к первоначальному, к вечной жизни, к божественной жизни в нас самих»; «Величие Толстого в том и состоит, что для него идеалы заключены не в материальной, внешней жизни, а истекают из человеческой души», ³³ и т. д. Основоположения и аргументы, лапидарно выска-

³¹ Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. статья и комм. А. В. Лаврова и Джона Мальмстада; подг. текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова и Джона Мальмстада. СПб., 1998. С. 178.

³² Там же. С. 188.

³³ Штейнер Р. Из области духовного знания, или антропософии: Статьи, лекции и драматическая сцена в переводах начала века / Сост., ред., комм. С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижак. М., 1997. С. 105—107, 109. Ср. фрагмент из лекции Р. Штейнера, прочитанной в Касселе 29 июня 1909 года: «Подумайте о Толстом и о его действиях в последние десятилетия, когда он на свой лад пытается раскрыть подлинный смысл христианства. Глубочайшее уважение должны будут иметь к такому мыслителю именно на Западе, где длинными философскими рассуждениями пишутся целые библиотеки о том, о чем так значительно и мощно пишет Толстой в такой книге, как „О жизни”. У Толстого есть страницы, где элементарным образом изложены некоторые великие теософские истины, которые западноевропейский философ, конечно, не может так изложить, о которых он должен был бы написать по крайней мере много книг, потому что тут сказано нечто совершенно значительное. Сквозь него у Толстого звучит, можно сказать, нечто,

занные Штейнером в отношении Толстого, полностью разделяются Белым, который развивает их в своем аналитическом этюде на множество ладов, в многообразных прихотливых вариантах интерпретации.

Другой краеугольный камень предпринятого Белым исследования, обозначенный в его первоначальном названии — «Лев Толстой и йога», — так же обязан своим возникновением в первую очередь Штейнеру. Обращение к древнеиндийской мудрости и восточным духовным практикам было вполне закономерным при анализе миросозерцания русского писателя, поскольку сам Толстой в последние десятилетия жизни постоянно апеллировал к мыслителям Индии и Китая и приводил их суждения в своих цитатных сводах. Предпринятый же Белым выбор для сопоставительного анализа из широкого круга возможных источников именно Бхагавадгиты — поэмы, являющей собой квинтэссенцию философской мысли Древней Индии, был непосредственно стимулирован лекциями основателя антропософии (хотя знакомство Белого с текстом поэмы было возможно еще до его приобщения к штейнерианству³⁴).

Белый был слушателем лекционных курсов Штейнера «Бхагавадгита и Послания апостола Павла» (Кёльн, 28 декабря 1912 — 1 января 1913 года) и «Оккультные основы Бхагавадгиты» (Гельсингфорс, 28 мая — 5 июня 1913 года). Чтение первого из этих курсов совпало с учреждением Антропософского общества (28 декабря 1912 года), выделившегося в самостоятельное объединение из Немецкой секции Теософского общества, и в этой связи тематика лекционного курса оказывалась особенно знаменательной и актуальной: устанавливалась тесная взаимосвязь между основополагающими духовными течениями Востока и Запада, воплощенными в Бхагавадгите, «значительнейшем философском произведении человечества»,³⁵ и в апостольских посланиях, определивших основы христианства как мировоззрения и вероучения. Декларативное провозглашение этих двух духовных первоначал должно было восприниматься и как символ ценностей, отстаиваемых новым сообществом, и как стимул к дальнейшим исканиям и постижениям под знаком антропософии. «Вот почему, — пояснял Штейнер в заключительной лекции курса, — и был в начале антропософского движения прочтен именно этот цикл докладов, который должен был показать, что

что можно назвать Импульсом Христа. Погрузитесь в его сочинение, и вы увидите, что его наполняет Импульс Христа» (*Штейнер Р.* О России: Из лекций разных лет / Сост., пер., комм. Г. А. Кавтарадзе. СПб., 1997. С. 206—207). Как свидетельствует А. Тургенева, Штейнер в разговорах особо выделял книгу Толстого «О жизни», которую «считал одной из важнейших книг благодаря присутствующему в ней моральному импульсу» (*Тургенева А.* Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. М., 2002. С. 42).

³⁴ Бхагавадгиту Белый воспринимал как один из древних литературных памятников, вошедших в теософский канон; знакомился с ним по переводу Alba (А. Каменской) и И. Манциарли, впервые опубликованном в «Вестнике теософии» (1909. № 11; 1910. № 1—12; 1911. № 1—4, 5/6, 7/8, 9); отдельное издание: Бхагавад-гита, или Песнь Господня, переведенная с английского и санскритского А. Каменской и И. Манциарли. Калуга: Изд. ж-ла «Вестник теософии», 1914 (с посвящением перед текстом: «Посвящается Анни Безант, Той, которая подвигом своей жизни стремится духовно объединить Восток и Запад»). Это — перевод с английского перевода, выполненного А. Безант. Интерес к Бхагавадгите возник у Белого, скорее всего, в контексте его увлечения теософией; ср. его признания в «Касаниях к теософии»: «1908 год: С осени страшно интересуюсь вновь теософией, читаю статьи Безант, читаю *Теософский вестник*» (Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. 9. Paris, 1990. С. 450). Существовали также старый русский перевод Н. И. Новикова (Багуат-Гета, или Беседа Кришны с Арджуном. М., 1788) и весьма далекий от оригинала перевод А. П. Казначеевой (Бхагавад Гита. Владимир, 1909), но знакомство Белого с ними маловероятно. См.: Махабхарата. II. Бхагавадгита / Буквальный и литературный пер., введения и прим. Б. Л. Смирнова. 2-е перераб. изд. Ашхабад, 1960. С. 8, 15, 398.

³⁵ *Штейнер Р.* Бхагавадгита и Послания апостола Павла. Калуга, 1993. С. 34.

речь идет не о чем-то узком, но что именно нашим движением мы можем расширить наш горизонт до тех далей, которые охватывают также и восточное мышление».³⁶

Особая значимость «учредительного» курса Штейнера была вполне ясна Белому, который предпринял его перевод на русский язык.³⁷ По-своему знаменательным для Белого был и второй, гельсингфорский, лекционный курс, поскольку Штейнер предпослал ему обращение к русским слушателям, в котором особое внимание уделил русской «народной душе, действительно существующей в духовном мире. Она находится в ожидании своей задачи в будущем, она полна ожидания, полна надежды, полна уверенности».³⁸ Тем самым Штейнер на свой лад подхватывал идею русского, и шире — славянского, мессианизма,³⁹ которая в сознании Белого постоянно присутствовала, а в 1917 году вышла на первый план; сопряжение этой идеи с интерпретацией оккультных основ Бхагавадгиты закономерным образом придавало лекционному курсу в восприятии русского поэта и других русских слушателей дополнительный индивидуально-интимный оттенок.

В пяти лекциях Штейнера о Бхагавадгите и Посланиях апостола Павла эти произведения осмысляются в системе со- и противопоставлений, основанной на магистральной идее: индийская поэма — результат тысячелетий развития человечества, она воплощает осуществившуюся и всецело определенную истину, в Посланиях Павла — зародыш нового, истина становящаяся, обращенная в грядущее, предвестие ближайших мировых эпох. Из Бхагавадгиты изливается «духовный поток пра-индийского мышления и познания, это величественно-чудесная точка зрения, основа знания, это неизмеримость спиритуального знания», доносящего до нас «остатки древнего ясновидения»;⁴⁰ в Посланиях Павла нет той возвышенности поэтической речи и бесстрастия, которыми отмечена индийская поэма, зато звучит взволнованный монолог о провозвестии христианства, который носит «вполне личный, часто исполненный страстей и лишенный невозмутимости характер» (Штейнер признает даже «несовершенство Посланий апостола Павла по сравнению с Бхагавадгитой»);⁴¹ В Бхагавадгите Кришна указывает путь йоги (в определении Штейнера, которое, несомненно, было усвоено Белым, йога — «это постепенное пробуждение высших сил души (...) это путь в духовные миры, путь освобождения души от внешних форм, путь к самостоятельной жизни души в своем внутреннем»);⁴² у Павла взамен — путь веры: «Йога претворяется в то, что стало у Павла словами: „Не я, но Христос во мне“. Это значит, что человек поднимется к вершинам божественного, если сила Христа пронизает и восхитит его душу».⁴³ Наставления Кришны обращены к индивидуальному ученику, Павел апеллирует ко всему человечеству: «...то, что переживается благодаря учению Кришны, переживается для себя в строгой отъединенности отдельной души (...) То, что может дать Кришна, должно быть дано каждому отдельному человеку. Ина-

³⁶ Там же. С. 160.

³⁷ Перевод хранится в частном собрании (см.: Казачков С. «Медитацией укрепленные мысли...»: на подступах к пониманию внутреннего развития Андрея Белого // Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики / Ред.-сост. Клаудиа Кривеллер, Моника Спивак. СПб., 2015. С. 77).

³⁸ Штейнер Р. О России: Из лекций разных лет. С. 23.

³⁹ См.: Коренева М. Ю. Образ России у Рудольфа Штейнера // Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока. СПб., 1998. С. 305—316.

⁴⁰ Штейнер Р. Бхагавадгита и Послания апостола Павла. С. 35, 36.

⁴¹ Там же. С. 72, 129.

⁴² Там же. С. 25.

⁴³ Там же. С. 32.

че обстоит дело с откровением, которое дано в импульсе Христа. Импульс Христа с самого начала был задуман как импульс, который обращается ко всему человечеству <...>; «Импульс Христа — это снова нечто подобное групповой душе человечества, но такой, которая должна сознательно искажаться этим человечеством».⁴⁴

Всем ходом своих размышлений Штейнер проводит мысль о приоритете христианской проповеди Павла перед древними поучениями Бхагавадгиты. Для слушателя его лекций Андрея Белого апостол Павел представлял едва ли не как двойник Штейнера и уж во всяком случае как мыслитель и вероучитель, служивший прообразом для создателя антропософии. В позднейших «Воспоминаниях о Штейнере» (1929) Белый, используя построения из затронутого лекционного курса (упомяная о «Гите» в связи с «„несовершенством“» гремящего апостола Павла), настойчиво проводит ту же параллель: «„Несправедливого“, сердцем горячего Павла всем сердцем любил, понимал доктор Штейнер»; «...кто понял дух огненный Павла, тот понял и Штейнера»; «Павел был непоседа: и — Штейнер. Гремел — тот; и — этот гремел».⁴⁵ И таким же, в глубинных основах мирозерцания, двойником Штейнера мог оказаться Лев Толстой для Белого, решившего, по образцу лекционного курса о Бхагавадгите и апостоле Павле, проанализировать философские построения великого русского писателя под знаком идей и откровений древнеиндийской поэмы. Штейнер осязал в Посланиях Павла живительные ростки будущего христианства, Белый видел в Штейнере современного учителя-пророка, воспринявшего от Павла его «дух огненный»; восхитившись трактатом «О жизни» и дневниковыми размышлениями Толстого, он решил воздать должное силе толстовского миропостижения, включив, однако, свою аргументацию в ту же систему соответствий-сопоставлений-подобий. Как Павел для Штейнера, так и Толстой для Белого ценен главным образом не полнотой и масштабом достигнутого, а мощным импульсом к достижению; тем, что он — «учитель сознания», «предтеча грядущей Любви»; тем, что всей своей жизнью и строем своей мысли он возвестил уход, который, в эсхатологических интуициях его интерпретатора, оказывается уходом «в озаренные шири Христова Сознания».

В статье «Лев Толстой и культура», написанной до обращения в антропософию, Белый отмечал, что «самая высказанная религия Толстого сплошь рационалистична, а рационализм и религия — *contradictio in adjecto*».⁴⁶ В философском очерке «Лев Толстой и культура сознания» намеченное противоречие устраняется: подобно тому как Штейнер в своем учении воссоединил рационально-научное познание с религиозно-мистическим и оккультным проникновением, Толстой, по убеждению Белого, руководствуется в книге «О жизни» критериями Разума, возвышающегося над сферой рассудка и открывающего пути к «иогическому», высшему самосознанию. Белый не жалеет самых сильных оценочных слов, характеризуя достигнутое Толстым в области отвлеченной мысли, но еще более пафосно провозглашает он его миссию первопроходца к новым горизонтам сознания и миропознания.

Сопрягая древнейшие основоположения Бхагавадгиты и сведения о различных разветвлениях буддизма с философскими построениями Толстого, проводя параллели с европейскими мыслителями нового времени и окрашивая собственные интерпретации в штейнерианские тона, Белый неизменно

⁴⁴ Там же. С. 132, 140.

⁴⁵ Андрей Белый. Собр. соч.: Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности; Воспоминания о Штейнере. М., 2000. С. 272, 273.

⁴⁶ О религии Льва Толстого. С. 158.

остается верен самому себе, тем первоначалам своего творческого «я», которые определились у него еще в период юношеского духовного становления. Девять глав, на которые разделен текст работы о Льве Толстом, — это своего рода девять кругов восхождения к провидимой автором мистико-«жизнетворческой» утопии, открывающейся за горизонтами современного мировидения. За мифологизированным и гиперболизированным образом Толстого, являющим собой новую оболочку, в которую вливаются прежние представления о творце-теурге, предстает категория будущего как некоего преображенного состояния сознания; в нем — в проекции, открывающейся Белому, — разрешаются все обозначившиеся в истории человеческой мысли антиномии и получает конкретное воплощение искомый синтез, происходит постижение высших сфер, обретающих способность раскрыться в человеческой индивидуальности.

В плане выражения «Лев Толстой и культура сознания» полностью вписывается в круг многочисленных «теоретических» работ Белого, появившихся после его приобщения к антропософии, для которых характерны сочетание логически-дискурсивных мыслительных построений с символическо-метафорическими инкорпорациями и последовательная ритмизация всего корпуса прозаического текста. Нагляднее всего эти особенности сказываются в четырехчастном цикле «кризисов» — философско-поэтических эссе «На перевале» (1917—1920), — к которому «Лев Толстой и культура сознания» непосредственно примыкает. Проза в этих произведениях — «танцующая» проза, в которой на свой лад отобразился еще один аспект прохождения Белым пути штейнерианского ученичества — усвоение опыта эвритмии.⁴⁷ В «поэме о звуке» «Глоссолалия» (1917) он писал: «Видел я эвритмистку: танцовщицу звука; она выражает спирали сложенья миров; все они — мироздания; выражает, как нас произнес Божий Звук <...> на эвритмистке червонится звук; и природа сознания — в нем; и эвритмия — искусство познаний».⁴⁸

Стимулирующая роль эвритмии сказывается и в работе Белого о Толстом: наряду с линейным развертыванием текста, включающим бесконечную череду нанизывающихся друг на друга умозаключений, в нем присутствуют постоянные возвращения к одним и тем же образно-смысловым построениям, подобно музыкальным лейтмотивам, повторяющимся в различных вариациях; в лексической палитре аналогичным образом слова — конденсаторы отвлеченных логических и метафизических смыслов соседствуют со словами, наполненными энергетикой заклинания, иррационального вторжения в непостижимую суть. Метафорические уподобления получают самостоятельную жизнь и последующее собственное развитие: так, в главе 7-й голова человека уподобляется крылатому лебедю, который снимается с тела и парит в бестелесном «и снова садится на тело, как лебедь, слетающий к пруду под ночь»; лебедь — уже не голова, а разум. Новые смыслы возникают и посредством каламбурной игры: «черти» из стихотворения Вл. Соловьева восприняты как «тени рассудка»; тени — это «черты», а тогда соловьевские «черти» — «„черта“, отделяющая Соловьева от цельного *Манаса*»; и следовательно, Соловьев «очерчен рассудочной философией отходящего времени» (гл. 3). В образно-мыслительном эвритмическом вихре, пронизывающем метафизическую субстанцию идейных построений Белого, многие имена и лица, вовлекаемые автором в безудержную смысловую игру, утрачивают свою историческую конкретику и идентичность и обретают статус

⁴⁷ См.: Спивак М. Белый-танцор и Белый-эвритмист // Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики. С. 116—162.

⁴⁸ Андрей Белый. Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин, 1922. С. 19, 20.

символических обобщений, в каковом и продолжают новую жизнь в умопознательном пространстве исследования; при этом мифологические персонажи, как Силен, обретают статус реальности — по меньшей мере духовной реальности, а реальные личности, как Сократ, мифологизируются, вплоть до того, что в интеллектуальных эскападах Белого рождается двуединство Сократ-Силен, и т. д. Если Белый по праву называл участницу эвритмических представлений «танцовщицей звука», то аналогичным образом его собственные философско-аналитические этюды, отразившие опыт прохождения автора через антропософскую «школу», правомерно определить как манифестацию «танцующей мысли». В силу всех этих особенностей работе «Лев Толстой и культура сознания» трудно подыскать адекватное жанровое определение: философское исследование? культурологический очерк? теоретическое эссе? философская поэма (очень может быть — по аналогии с «Глоссолалией. Поэмой о звуке»)?

К развернутому анализу личности и философских построений Толстого Белый обратился еще раз несколько лет спустя: в его историко-философском и теоретико-антропософском исследовании «История становления самосознющей души», основная работа над которым пришлась на 1926 год, имеется глава «Еще раз „Толстой“ и еще раз Толстой».⁴⁹ Но рассмотрение этого опыта интерпретации Толстого, наиболее перспективное в рамках общего анализа книги, в которую она входит составной частью, не является

⁴⁹ См.: Андрей Белый. Душа самосознющая / Сост. и статья Э. И. Чистяковой. М., 1999. С. 276—302.

сейчас нашей задачей.